

Юлиус Фучик

Репортаж с петлей на шее (фрагмент)

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте!

Не забудьте ни добрых, ни злых.

Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас.

Юлиус Фучик

Написано в тюрьме гестапо в панкраце весной 1943 года

Сидеть, напряженно вытянувшись, уперев руки в колени и уставив неподвижный взгляд в пожелтевшую стену комнаты для подследственных во дворце Печена, – это далеко не самая удобная поза для размышлений. Но можно ли заставить мысль сидеть навытяжку?

Кто-то когда-то – теперь уж, пожалуй, и не узнать, когда и кто, – назвал комнату для подследственных во дворце Печена кинотеатром. Замечательное сравнение! Обширное помещение, шесть рядов длинных скамей, на скамьях – неподвижные люди, перед ними – голая стена, похожая на экран. Все киностудии мира не накрутили столько фильмов, окольно их спроецировали на эту стену глаза ожидавших нового допроса, новых мучений, смерти. Целые биографии и мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене, о детях, разоренном очаге, о погибшей жизни, фильмы о мужественном товарище и о предательстве, о том, кому ты передал последнюю листовку, о крови, которая прольется снова, о крепком рукопожатии, которое обязывает, – фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, сомнения и надежды. Оставив жизнь позади, каждый здесь ежедневно умирает у себя на глазах, но не каждый рождается вновь.

Сотни раз видел я здесь фильм о себе, тысячи его деталей. Попробую рассказать о нем. Если же палач затянет петлю раньше, чем я закончу рассказ, останутся миллионы людей, которые допишут счастливый конец.

ГЛАВА I. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Без пяти десять. Чудесный теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года.

Я тороплюсь, насколько это возможно для почтенного, прихрамывающего господина, которого я изображаю, – тороплюсь, чтобы поспеть к Ейнекам до того, как запрут подъезд на ночь. Там ждет меня мой «адъютант» Мирек. Я знаю, что на этот раз он не сообщит мне ничего важного, мне тоже нечего ему сказать, но не прийти на условленное свидание – значит вызвать переполох, а главное, мне не хочется доставлять напрасное беспокойство двум добрым душам, хозяевам квартиры.

Мне радушно предлагают чашку чаю. Мирек давно пришел, а с ним и супруги Фрид. Опять неосторожность.

– Товарищи, рад вас видеть, но не так, не всех сразу. Это прямая дорога в тюрьму и на смерть. Или соблюдайте правила конспирации, или бросайте работу, иначе вы подвергаете опасности себя и других. Поняли?

– Поняли.

– Что вы мне принесли?

– Майский номер «Руде право».

– Отлично. У тебя что, Мирек?

– Да ничего нового. Работа идет хорошо...

– Ладно. Все. Увидимся после Первого мая. Я дам знать. И до свиданья!

– Еще чашечку чаю?

– Нет, нет, пани Елинкова, нас здесь слишком много.

– Ну одну чашечку, прошу вас!

Из чашки с горячим чаем поднимается пар.

Кто-то звонит.

Сейчас, ночью? Кто бы это мог быть?

Гости не из терпеливых. Колотят в дверь:

– Откройте! Полиция!

– К окнам, скорее! Спасайтесь! У меня револьвер, я прикрою ваше бегство.

Поздно! Под окнами гестаповцы, они целятся из револьверов в комнаты. Через сорванную с петель входную дверь гестаповцы врываются в кухню, потом в комнату. Один, два, три... девять человек. Они не видят меня, я стою в углу за распахнутой дверью, у них за спиной. Могу отсюда стрелять беспрепятственно. Но девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, нас будут мучить... От меня ничего не добьются, а от Мирека? Человек, который сражался в Испании, два года пробыл в концентрационном лагере во Франции и во время войны нелегально пробрался оттуда в Прагу, – нет, такой не подведет. У меня две секунды на размышление. Или, может быть, три?

Мой выстрел ничем не поможет, я лишь избавлюсь от пыток, но зато напрасно пожертвую жизнью четырех товарищей. Так? Да. Решено.

Я выхожу из укрытия. – А-а, еще один!

Удар по лицу. Таким ударом можно уложить на месте.

– Hande auf!¹ Второй удар. Третий. Так я себе это и представлял.

Образцово прибранная квартира превращается в груды перевернутой мебели и осколков. Снова бьют кулаками.

– Марш!

Вталкивают в машину. На меня все время направлены револьверы. Дорогой начинается допрос:

– Ты кто такой?

– Учитель Горак.

– Врешь!

Я пожимаю плечами.

– Сиди смирно или застрелю!

– Стреляйте!

Вместо выстрела – удар кулаком.

¹ Руки вверх! (нем.)

Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется, что вагон разукрашен белыми гирляндами. Свадебный трамвай сейчас, ночью? Должно быть, у меня начинается бред.

Дворец Печека. Я думал, что живым туда никогда не войду. А тут почти бегом на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел 11-А-1 по борьбе с коммунизмом. Пожалуй, это даже любопытно.

Долговязый, тощий гестаповец, руководящий налетом, прячет револьвер в карман и ведет меня в свой кабинет. Угощает сигаретой.

– Ты кто?

– Учитель Горак.

– Врешь!

Часы на его руке показывают одиннадцать.

– Обыскать!

Начинается обыск. С меня срывают одежду.

– У него есть удостоверение личности.

– На чье имя?

– Учителя Горака.

– Проверить! Телефонный звонок.

– Ну конечно, не прописан! Удостоверение фальшивое. Кто тебе выдал его?

– Полицейское управление.

Удар палкой. Другой. Третий... Вести счет? Едва ли тебе, дружище, когда-нибудь понадобится эта статистика.

Фамилия? Говори! Адрес? Говори. С кем встречался? Говори! Явки? Говори! Говори! Говори! Сотрем в порошок!

Сколько примерно ударов может выдержать здоровый человек?

По радио сигнал полуночи. Кафе закрываются, последние посетители расходятся по домам, влюбленные медлят у ворот и никак не могут расстаться. Долговязый, тощий гестаповец, весело улыбаясь, входит в помещение.

– Все в порядке... господин редактор?

Кто им сказал? Елинеки? Фриды? Но ведь они даже не знают моей фамилии.

– Видишь, нам все известно. Говори! Будь благоразумен. Оригинальный словарь. Быть благоразумным – значит предать. Я неблагоразумен.

– Связать его! И покажите ему!

Час. Тащатся последние трамваи, улицы опустели, радио желает спокойной ночи своим самым усердным слушателям.

– Кто еще, кроме тебя, в Центральном Комитете? Где ваши радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!

Теперь я могу более хладнокровно считать удары. Болят только искусанные губы, больше ничего я уже не ощущаю.

– Разуль его!

В ступнях боль еще не притупилась. Это я чувствую. Пять, шесть, семь... Кажется, что палка проникает до самого мозга. Два часа. Прага спит, разве только где-нибудь во сне заплачет ребенок и муж приласкает жену.

– Говори! Говори!

Провожу языком по деснам, пытаюсь сосчитать, сколько зубов выбито. Никак не удастся. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать? Нет, это меня «допрашивают» столько гестаповцев. Некоторые, очевидно, уже устали. А смерть все еще медлит.

Три часа. С окраин в город пробирается утро. Зеленщики тянутся на рынки, дворники выходят подметать улицы. Видно, мне суждено прожить еще один день.

Приводят мою жену.

– Вы его знаете?

Глотаю кровь, чтобы она не видела... Собственно, это бесполезно, потому что кровь всюду, течет по лицу, каплет даже с кончиков пальцев.

– Вы его знаете?

– Нет, не знаю!

Сказала и даже взглядом не выдала ужаса. Милая! Сдержала слово – ни при каких обстоятельствах не узнавать меня, хотя теперь уже в этом мало смысла. Кто же все-таки выдал меня?

Ее увели. Я простился с ней самым веселым взглядом, на какой только был способен. Вероятно, он был вовсе не весел. Не знаю.

Четыре часа. Светает? Или еще нет? Затемненные окна не дают ответа. А смерть все еще не приходит. Ускорить ее? Но как?

Я кого-то ударил и свалился на пол. На меня набрасываются. Пинают ногами. Топчут мое тело. Да, так теперь все кончится быстро. Черный гестаповец хватает меня за бороду и самодовольно усмехается, показывая клок вырванных волос. Это действительно смешно. И боли я уже не чувствую никакой.

Пять часов, шесть, семь, десять, полдень. Рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, дома готовят обед, вероятно, мама сейчас вспомнила обо мне, товарищи, наверно, уже знают о моем аресте и принимают меры предосторожности... на случай, если я заговорю... Нет, не бойтесь, не выдам, поверьте! И конец ведь уже близок. Все как во сне, в тяжелом, лихорадочном сне. Сыплются удары, потом на меня льется вода, потом снова удары, и снова: «Говори, говори, говори!» А я все еще никак не могу умереть. Отец, мать, зачем вы родили меня таким сильным?

День кончается. Пять часов. Все уже устали. Бьют теперь изредка, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг издалека, из какой-то бесконечной дали, звучит тихий, ласкающий голос:

– Er hat schon genug!²

И вот я сижу. Мне кажется, что стол передо мной раскачивается, кто-то дает мне пить, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах удержать, кто-то пробует натянуть мне на ноги башмаки и говорит, что они не налезают, потом меня наполовину ведут, наполовину несут по лестнице вниз, к автомобилю. Мы едем, кто-то опять наводит на меня револьвер, мне смешно, мы опять проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая, увитого гирляндами белых цветов, но, вероятно, все это только сон, только лихорадочный бред, агония или, может быть, сама смерть. Ведь умирать все-таки тяжело, а я уже не чувствую никакой тяжести, вообще ничего; такая легкость, как у одуванчика; еще один вздох – и конец.

² Уже готов! (нем.)

Конец? Нет, еще не конец, все еще нет. Я снова стою, да, да, стою один, без посторонней помощи, и прямо передо мной грязная желтая стена, обрызганная – чем? – кажется, кровью... Да, это кровь. Я поднимаю руку, пробую размазать кровь пальцем... получается... ну да, кровь, свежая, моя.

Кто-то бьет меня сзади по голове и приказывает поднять руки и присесть; на третьем приседании я падаю...

Долговязый ээсовец стоит надо мной и старается поднять меня пинками; напрасный труд; кто-то опять обливает меня водой, я опять сижу, какая-то женщина подает мне лекарство и спрашивает, что у меня болит, и тут мне кажется, что вся боль у меня в сердце.

– У тебя нет сердца, – говорит долговязый ээсовец.

– Ну пока еще есть! – отвечаю я и чувствую внезапную гордость оттого, что у меня еще достаточно сил, чтобы заступиться за свое сердце.

И снова все исчезает: и стена, и женщина с лекарством, и долговязый ээсовец...

Теперь передо мной открытая дверь в камеру. Толстый ээсовец волочит меня внутрь, стаскивает с меня лохмотья рубашки, кладет на соломенный тюфяк, ощупывает мое опухшее тело и приказывает приложить компрессы.

– Посмотри-ка, – говорит он другому и качает головой, – ну и мастера отделявать!

И снова издалека, из какой-то бесконечной дали, я слышу тихий, ласкающий голос, несущий мне облегчение:

– До утра не доживет.

Без пяти минут десять. Чудесный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года.

ГЛАВА II. АГОНИЯ

...Когда в глазах померкнет свет

И дух покинет плоть...

Два человека, сложив руки, как на молитве, тяжелой, медленной поступью ходят под белыми сводами склепа и протяжными нестройными голосами поют грустную церковную песнь:

...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть,
Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет господь...

Кто-то умер. Кто? Я стараюсь повернуть голову... Увижу,
наверное, гроб с покойником и две свечи у изголовья.

...Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет господь...

Мне удалось поднять глаза. Но я никого не вижу. Нет никого,
только они и я. Кому же они поют отходную?

Туда, где светится всегда
Господняя звезда

Это панихида. Самая настоящая панихида. Кого же они
хоронят? Кто здесь? Только они и я. Ах да, я! Может быть, это мои
похороны? Да. Послушайте, люди, это недоразумение! Ведь я все-
таки не мертвый, я живой! Видите, я смотрю на вас, разговариваю с
вами! Бросьте! Не хороните меня!

Сказав последнее «прости»
Всем тем, кто дорог нам.

Не слышат. Глухие, что ли? Разве я говорю так тихо? Или,
может быть, и вправду мертв и до них не доходит загробный голос?
А мое тело лежит пластом и я гляжу на собственные похороны?
Забавно!

Мы с упованием свой взгляд
Подъемлем к небесам.

Я вспоминаю, что произошло. Кто-то с трудом поднимал и
одевал меня, потом меня несли на носилках, стук тяжелых кованых
сапог гулко отдавался в коридоре... Потом... Это все. Больше я
ничего не знаю. Ничего не помню.

Туда, где мрака ночи нет Но это вздор. Я жив. Я смутно
чувствую боль и жажду. Разве мертвым хочется пить? Я напрягаю
все силы, пытаюсь шевельнуть рукой, и чей-то чужой,
неестественный голос произносит:

– Пить!

Наконец-то. Оба человека перестают ходить по кругу. Они
наклоняются надо мной, один из них поднимает мне голову и
подносит к губам ковшик с водой.

– Парень, ты бы поел чего-нибудь. Вот уже двое суток все только пьешь да пьешь.

Что он говорит? Двое суток? Какой же сегодня день?

– Понедельник.

Понедельник! А меня арестовали в пятницу... Какая тяжелая голова! И как освежает вода! Спать! Дайте мне спать... Капля замутила ясную водную гладь. Это родник на лужайке в горах... Я знаю, это тот, что близ сторожки под Рокланом... Мелкий непрерывный дождь шумит в хвойном лесу... Как сладко спать!..

Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной стоит собака. Овчарка. Она пристально смотрит на меня красивыми умными глазами и спрашивает:

– Где ты жил?

Нет, это не собака. Чей же это голос? А-а, еще кто-то стоит надо мной. Я вижу пару сапог... и другую пару, и форменные брюки, но взглянуть выше мне не удастся, голова кружится. Эх, все это неважно, дайте мне спать.

Среда.

Два человека, которые пели псалмы, сейчас сидят у стола и едят из глиняных мисок. Теперь я различаю их. Один помоложе, другой совсем пожилой. На монахов они, кажется, не похожи. И склеп уже не склеп, а тюремная камера, как сотни других: дощатый пол, тяжелая темная дверь...

В замке гремит ключ, оба вскакивают и становятся навытяжку; два эсэсовца входят и велят одеть меня. Никогда не думал я, сколько боли может причинить каждый рукав или каждая штанина... Меня кладут на носилки и несут вниз по лестнице. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдается в коридоре... Кажется, этим путем меня уже несли однажды и принесли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю?

В полутемную, мрачную канцелярию по приему арестованных панккрацкой тюрьмы.

Носилки ставят на пол, и деланно-добродушный голос переводит свирепое немецкое рывканье

– Ты знаешь ее?

Я подпираю подбородок рукой. Рядом с носилками стоит молодая круглолицая девушка. Стоит, гордо выпрямившись, с

высоко поднятой головой; держится не вызывающе, но с достоинством. Только глаза ее слегка опущены, ровно настолько, чтобы видеть меня и поздороваться взглядом.

– Нет, не знаю.

Помнится, я видел ее мельком в ту сумасшедшую ночь во дворце Печека. Теперь мы видимся во второй раз. Жаль, что третьей встречи уже не будет и мне не удастся пожать ей руку за то, что она держала себя с таким достоинством. Это была жена Арношта Лоренца. Ее казнили в первые же дни осадного положения в 1942 году.

– Ну эту ты наверняка знаешь, Аничка Ираскова! Боже мой, Аничка, вы-то как сюда попали? Нет, нет, я не произносил вашего имени, вы не знаете меня, и я с вами незнаком. Понимаете, незнаком!

– И ее не знаю.

– Подумайте хорошенько!

– Не знаю.

– Юлиус, это ни к чему, – говорит Аничка, и лишь неприметное движение пальцев, комкающих носовой платок, выдает ее волнение. – Это ни к чему. Меня уже опознали.

– Кто?

– Молчать! – обрывают ее и торопливо отталкивают, когда она нагибается и протягивает мне руку.

Аничка!

Остальных вопросов я уже не слышу.

Как-то со стороны, совсем не ощущая боли, словно я только зритель, чувствую, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру и, грубо встряхивая носилки, со смехом осведомляются, не предпочту ли я качаться в петле.

Четверг

Я уже начинаю воспринимать окружающее. Одного из моих товарищей по камере зовут Карел. Старшего он называет «папаша». Он что-то рассказывает о себе, но у меня все путается в голове... Какая-то шахта, дети за партами... звон колокола... Уж не пожар ли?

Говорят, ко мне каждый день ходят врач и эсэсовский фельдшер. Я, дескать, не так уж плох, скоро буду опять молодцом.

Это настойчиво твердит мне «папаша», а Карел так усердно поддакивает, что, несмотря на свое состояние, я понимаю: это святая ложь. Славные ребята! Жаль, что я не могу им поверить.

Вторая половина дня.

Дверь камеры открывается, и бесшумно, словно на цыпочках, вбегает пес, останавливается у моего изголовья и снова пристально смотрит на меня. Рядом снова две пары сапог. Теперь я уже знаю – одна пара принадлежит хозяину пса, начальнику тюрьмы Панкрац, другая – начальнику отдела по борьбе с коммунистами, гестаповцу, который меня допрашивал тогда ночью. А вот еще штатские брюки. Мой взгляд скользит вверх. Да, я знаю и этого долговязого, тощего комиссара, который руководил оперативной группой, арестовавшей меня. Он садится на стул и начинает допрос:

– Ты свою игру проиграл, подумай хотя бы о себе. Говори.

Он предлагает мне сигарету. Не хочу. Мне не удержать ее в пальцах.

– Как долго ты жил у Баксов?

У Баксов! И это им известно! Кто же им сказал?

– Видишь, нам все известно. Говори.

– Если вам все известно, зачем же мне говорить? Я жил не напрасно и не опозорю свои последние дни.

Допрос длится час. Допрашивающий не кричит, он терпеливо повторяет один и тот же вопрос, потом, не дождавшись ответа, задает второй, третий... десятый.

– Неужели ты не понимаешь? Все кончено. Вы проиграли. Вы все.

– Проиграл только я.

– Ты еще веришь в победу коммуны?

– Конечно.

– Он еще верит? – спрашивает по-немецки начальник отдела.

А долговязый гестаповец переводит:

– ...он еще верит в победу России.

– Безусловно. Иного конца быть не может.

Я утомлен. Я напрягал все силы, чтобы быть начеку, но сейчас сознание быстро покидает меня, как кровь, текущая из глубокой раны. Напоследок я еще вижу, как мне протягивают руку, – должно быть, тюремщики заметили печать смерти на моем лице. В самом

деле, в некоторых странах у палачей даже было в обычае целовать осужденного перед казнью.

Вечер.

Два человека со сложенными руками ходят по кругу и протяжными, нестройными голосами тянут грустную песнь:

Когда в глазах померкнет свет

И дух покинет плоть...

Эй, люди, люди, бросьте же! Может, эта песня и неплоха, но сегодня... сегодня канун Первого мая, самого прекрасного, самого радостного праздника. Я пытаюсь запеть что-нибудь веселое, но, видно, моя песня звучит еще мрачнее, потому что Карел отворачивается, а «папаша» вытирает глаза. Пускай. Я не сдаюсь и продолжаю петь. Постепенно они присоединяются ко мне. Удовлетворенный, я засыпаю.

Раннее утро Первого мая.

Часы на тюремной башне бьют три. Впервые я ясно слышу бой часов. Впервые после ареста я в полном сознании. Я чувствую, как через открытое окно проникает свежий воздух, как он обдувает мой тюфяк на полу, как стебли соломы колют мне грудь и живот. Каждая клетка моего тела болит на тысячу разных ладов. Мне трудно дышать. Внезапно, как будто свет из распахнувшегося окна, меня озаряет мысль: это конец, я умираю.

Долгонько же ты не приходила, смерть! И все же, признаться, я надеялся, что мы встретимся с тобой через много лет, что я еще проживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я только сейчас достиг зрелости, у меня было еще много, много сил. Их больше нет. Конец.

Я любил жизнь и за ее красоту вступил в бой. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы меня не понимали. Кого я обидел – простите, кого порадовал – не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Это мой завет вам, отец, мать и сестры, тебе, моя Густина, вам, товарищи, всем, кто любил меня так же горячо, как и я их. Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте. Но не жалейте. Жил я для радости, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби.

Первое мая! В этот час уже строились в ряды на окраинах городов и разворачивали знамена. В этот час на улицах Москвы уже шагают на майский парад первые шеренги войск. И сейчас миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества. Тысячи гибнут в этом бою. Я – один из них. Быть одним из воинов последней битвы – это прекрасно!

Но агония совсем не прекрасна. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха. Я слышу хрип и клокотание у себя в горле. Чего доброго, еще разбужу товарищей. Промочить бы горло глотком воды! Но вся вода в ковше выпита. В шести шагах от меня, в унитазе, в углу камеры, вода есть. Но хватит ли у меня сил добраться туда?

Я ползу на животе тихо-тихо, словно истинное геройство заключается в том, чтобы, умирая, никого не разбудить. Дополз. Пью, захлебываясь, воду со дна унитаза.

Не знаю, сколько это продолжалось, сколько времени я полз обратно. Сознание снова оставляет меня. Я ищу у себя пульс. Не нахожу его. Сердце поднялось к горлу и стремительно падает вниз. Я падаю тоже. Падаю медленно. И при этом слышу голос Карела:

– Папаша, папаша! Бедняга кончается!

Утром пришел врач (об этом я узнал много позже). Он осмотрел меня и покачал головой. Потом вернулся к себе в лазарет, разорвал рапортчку о смерти, которую заполнил еще накануне, и сказал с уважением специалиста:

– Лошадиный организм!

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
 - в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.
- Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.